

екатерина марголис



следы на воде

Екатерина Леонидовна Марголис

Следы на воде

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=19224056
Следы на воде: Издательство Ивана Лимбаха; СПб; 2015
ISBN 978-5-89059-233-0*

Аннотация

В автобиографической книге Екатерины Марголис «Следы на воде» Венеция выходит за пределы своих границ: трещины на ее стенах становятся переплетением человеческих судеб; ее мосты соединяют землю и небо, тот свет и этот; кружа по ее улицам, можно забрести в церковь, где одновременно служат две литургии – католическую и православную; лагуна незаметно переходит в заснеженное поле; воздушные шарик в руках детей у базилики Санта-Мария-делла-Салюте превращаются в надутые перчатки-«ежики» на постели мальчика Лёвы, умирающего от рака в московской больнице. Повествование движется любовью – страстью и состраданием, верностью и верой, счастьем присутствия и памятью утраты, покаянием и прощением, откровением красоты и красотой Откровения.

В книге представлены живопись, графика, фотографии, типографические композиции и объектные инсталляции автора

Содержание

Часть первая	13
Глава первая	14
Глава вторая	17
Глава третья	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Екатерина Марголис

Следы на воде

Эта книга написана за четыре года, а на самом деле писалась более двадцати лет. И сейчас мне хочется прежде всего поблагодарить всех, имеющих прямое отношение к этому повествованию. Некоторые имена слегка изменены, но все обстоятельства и совпадения не случайны: вы были и есть в моей жизни и памяти. Всем, без кого эта книга немислима, бережно помогавшим спустать корабль на воду, я хочу сказать спасибо.

Спасибо моему теперь уже родному городу Венеции – за ежедневную красоту, вдохновение и встречи. Спасибо человеку, подарившему мне этот город однажды и навсегда.

Спасибо Леониду Белоцерковскому за глубокое понимание искусства и продолжение лучших традиций русского меценатства, благодаря которым рукопись смогла стать той книгой, которую вы держите в руках.

Спасибо Витторио Страде, одному из первых читателей этой книги, чья поддержка и одобрение были мне очень важны. Отдельное сердечное спасибо Игорю Сахновскому за вдумчивое внимание и действенное сочувствие. Спасибо Полине Барсковой, Ире Гачичеладзе, Олегу Дорману, Маргарите Живовой, Наталье Кантонистовой, Бахыту Кенжееву, Алле Кинчиковой, Алле Клотц, Марии Коковкиной, Анаста-

сии Константиновой, Анне Ландман, Лиде Мониаве, Юрию Норштейну, Ольге Седаковой, Роксане Софроницкой, Ирине Оскольской, Людмиле Улицкой, Михаилу Шишкину, а также всем первым читателям и критикам книги, отрывки из которой публиковались на страницах фейсбука: ваше неравнодушие вдохнуло жизнь в эти страницы. Спасибо Андрею Зализняку – другу, многолетнему корреспонденту и выдающемуся ученому, из бесед и переписки с которым начала расти эта книга. И наконец, бесконечная благодарность Марии Степановой, без которой эта работа едва ли увидела бы свет и чья поддержка, совет и неустанное присутствие словом, мыслью и чувством не давали мне падать духом на последних страницах этой книги.

Не только первыми страницами, но многими последующими я обязана своей семье. Спасибо моей бабушке Марине Густавовне Шторх (Шпет) за щедро открытые двери, ведущие в тот мир преемственности и традиции, где нет второстепенного и незначительного. Спасибо моей любимой младшей сестре Анне Марголис за понимание, сочувствие и за отважно протоптанную дорожку туда, куда и я с детства мечтала попасть. Спасибо моему папе, Леониду Марголису, за все, чему я от него научилась, в том числе и в словесности. Спасибо моим старшим дочерям – Роксане и Саше – за терпение, поддержку и за то, что вы есть рядом со мной.

Я посвящаю эту книгу моей маме, Наталье Рудановской. У меня едва ли найдутся слова благодарности, которые бы-

ли бы ей по росту и которые могли бы выразить то, что нас связывает и что знаем только мы.

Моей маме

Ты значил все в моей судьбе.

Борис Пастернак

Викрам Сет

В МАЛЕНЬКОМ САДИКЕ В ВЕНЕЦИИ

Ты с девочками вернешься через неделю
С ваших долгих русских каникул – и я,
Не сумевший толком этим распорядиться, буду обязан
«Освободить гнездо». Сегодня я проверяю,
удалось ли выжить
Здесьней флоре, порученной мне столь опрометчиво.
Я сижу за большим деревянным столом, убедившись:
она в порядке.
Потом подхожу к увитой лозою стене и пробую виноград.
Что бы еще могли здесь помять мои беспокойные пальцы:
Розмарин? лаванду? или эти листья томата,

В то время как вслед за их тенью карабкается повыше юркий геккон?

Здесьняя жизнь – звенящие звуки посуды,
Шорох шагов, приглушенное радио; Большой канал
С его плеском волны в парапет и рыком моторов —
где-то совсем далеко.

Несколько аборигенов покидают свои пещеры.

Гнездо утопает

В зелени. Кобальтовый небосвод. Ряды глупых гераней
Обозначают границы владений, но не выходят
За камень стены с желтой ее штукатуркой.

Здесь только я и дом с жалюзи (словно играем в жмурки).

Но все же я тут не один. В маленькой темной комнатке,
Где прямо за дверью лишь стол да узкая койка
(Круто! круто!), на полке – словно иконы,
озаренные синим

Светом лампад, – пара овальных портретов
(Черно-белых гравюр). На одном из них Пушкин.

Он, никогда не выезжавший из России и уж тем более
Не бродивший по этому прекрасному городу,
Ныне дома везде. Он – все те, кто знает его наизусть,
Он – это я, кто, пусть и не в силах читать по-русски,
Чувствует сердцем каждое слово. И меня бы не было
здесь,

Если б не Пушкин. Он дал мне меня...

Солнце, высываясь из-за шпалеры, делит стол пополам.
Мой мобильный горячий, как головня,
Так что не прикоснуться; а что до содержимого головы,
—

Какие мысли способны выжить, к примеру,
в кипящей кастрюле?

Тороплюсь в дом и, упав на кушетку, вытягиваюсь в рост,
Руки расслаблены. Пушкин критически смотрит на то,
Сколь вял и беспомощен может быть вкрутую
сваренный мозг.

Часы негромко шуршат, на круглой их физиономии —
«IV» (часа).

Но на своей кровати я тяну лишь на I (единицу).
Глаза слипаются. Море, взрывая вдали, резвится.
Нагоняя страху, адриатический шторм
Взбалтывает моря – от Черного до Балтийского.
Тибр кишит акулами; акватория Санкт-Петербурга
Покрыта хлопьями пены, взбитой косяками угря,
в то время как

Двенадцатиметровые шуки патрульных лодок снуют
В Большом канале, норовя опрокинуть гондолы, явно
желая

Поужинать сладкими парочками, что попадают
по дороге.

Я курсирую на своей скромной посудине, полной цветов,
От берега до плавучего дома и снова обратно, —
Напевая, чтоб дать облегченье грустным сердцам
моряков,

Потерявших в пасти морских чудовищ многих друзей,
Сгинувших в осетровой мути и угревой пене.

На волнах качаются венки хризантем – символ агонии
Множества одиночеств (оставшихся в лодках ли,
на берегу) —

Всех тех, чьих любовников более нет. Но далее не могу...
Тут я вдруг обнаруживаю, что сам еще здесь и жив
(Хотя, конечно, был бы рад обрести покой
Где-нибудь в этом мире), что вновь брожу
Среди влажной зелени, лишенной теней;
Солнце сейчас завернуто в промасленную облачную
бумагу
Над маленьким садом, где геккон так упорно лезет
на свою стену.

... Всегда возвращайтесь туда, где вас любили, к теплому
звуку

Ложечки в чайном фарфоре, к приветливым голосам.
Представляю, как здесь, под этой увитой плетью стеной,
Ты наливаешь в стаканы мне и друзьям (кстати, оба
поэты)

Свежевыжатый, без добавления сахара сок винограда.
Они улыбаются мне и пьют, молча кивая друг другу.
Геккон также помалкивает, видимо, берет с них пример.
Они уже высказались, что пришли в этот мир –
говорить...

Я снова один, машинально перебираю раковины,
Извлеченные из лагуны, – их общий подарок —
Все, что осталось мне в придачу к воспоминаньям.
Песочные часы ведут подсчет уходящих мгновений.
Изготовленный руками хрупкий памятник времени.

Перевод с английского Андрея Олеара

Екатерина Марголис

НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Ты прав. На нашем циферблате
(лице часов) отмечено «IV» (четыре),
а не обычная четверка «I» (единиц).

Так время против стрелки
отсчитывает буквы именам,
из обихода выпавшим.
Увы. Ни первому лицу, ни даже четверым
угнаться не под силу за вторым.

Те «Ты» ушли.
А этих больше нет.
Куда спешить?
Тик-так. Замедли бег.

Глянь, виноград созрел.
Зеленая калитка
закрыта в мир иной.
И стены отражают
игру лучей в канале.
Тени тают,

и постепенно
блекнет образ «Ты»
на плоском горизонте.

Сизый город,
на прежний лад родного языка
настроив было трубы пароходов,
теряется за их немой громадой.
Так при отплытии рвутся нити дружб.
Так Я без Ты.
Так единицы без глазниц
Таращатся в бескрайний текст лагуны.

Чей черед – не спрашивай.
Quem mihi, quem tibi – scire nefas.
Местоимение заменит безымянность.
И первому лицу давно пора оставить
пустые притязанья на вторые:
ибо твои пути не есть мои.
Spes longa est ed vita sometimes brevis:
Care diem, мой друг, vina liques.

Пусть будет так, пока в моей гостиной
часы с «IV» (четверкой) будут шелестеть
слова любви в развернутом порядке.
Тут всякий жив.
Тут подлинник не тронут.
Тут рифма и размер сохранены.
Тут всякая строка читается с конца

к той самой первой и заглавной букве.

Тут жили-были, тут в начале было...

В начале было имя для всего.

И ты плывешь назад, к началу своего.

Авторский перевод с английского

Часть первая

На полях дней

Поле – одна из форм материи, характеризующая все точки пространства и времени и поэтому обладающая бесконечным числом степеней свободы.

Глава первая

Лингвистические задачи

Даны слова:

Буква

Одно слово

Словосочетание

Итальянский

Глагол

Двадцатитрехбуквенный

Слово

Два слова

Сочетание слов

Русский

Существительное

Двадцатичетырехбуквенный

Дети! Слова в первой колонке – обычные. Слова во второй – особенные. У них есть одно общее свойство. Ваша задача понять – какое. Если что-то будет непонятно, оставляйте пробелы, но не останавливайтесь.

За окном уже почти весна. Слова летают в воздухе, прочерчивая целые строки. Дети скрипят карандашами. Среди них девочка-подросток лет пятнадцати. Время от времени она поднимает голову, смотрит в окно и грызет карандаш. Даны слова на незнакомом языке и их переводы на родной, найдите соответствия, знать ничего не надо, только думать, пытаться уловить внутренние переключки смысла и формы, вот тут и вот тут... А вот еще знакомое: «Когда человек уми-

рает, изменяются его портреты» – Ахматова. Интересно, это правда? А когда человек умирает? ты знаешь? я – нет. Какая весна на московских улицах! Нет, не весна еще – только ее обещание. Оттепель уже была, это мы знаем, но весна так и не наступила. Разве что пражская, 68-го, которая закончилась душным августом с танками. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь? Нас с тобой еще и на свете не было. А ты знал, что слово «оттепель» придумал Эренбург. В «Огоньке» только что вышла статья. Да что там Эренбург! «Доктора Живаго» напечатали. «Архипелаг Гуд-лаг»! Неужели правда весна? Трудно поверить. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода. О чем это я думаю. Оттепель, весна. Итальянский, русский. Существительное, глагол. В чем же тут штука? Слово–буква. Однослово – два слова. Какой белый лист. Когда падает солнце, становится еще белее. Белое на белом. На листе оставляйте поля. Жизнь прожить – не поле перейти.

Мой лист – это поле. Белое поле в снегу. Тогда оно занимало почти всю страницу.

Tabula rasa.

Поле начиналось сразу за калиткой. На горизонте обозначались верхушки сосен и маковка церкви. Там, в трех соснах, был похоронен поэт. А в его доме жили девочка и мальчик.

Что я знала о тебе тогда? Мне просто нравилось смотреть на твое поле. Ты на той стороне, я – на этой. В отголоске электрички я ловлю все, что случится потом, но уже сейчас

так и тянет перейти через это поле.

От калитки дома до сияющей среди сосен маковки.

Выходить одним за ворота нам не разрешали. Девочка подолгу стояла у калитки, вглядывалась в поле, словно выманивая свою судьбу из белого листа за воротами. Посетители музея привыкли к этой фигурке у зеленого забора. Собственно, и музея как такового в доме поэта тогда не было. Было нечто полуподпольное, приходили люди. Много людей, много лиц. Много слов, голосов, споров, разговоров. Вскоре, года в четыре, кроме силуэтов и лиц, стали понемногу проявляться и буквы. Потом слова. Они оставляли следы на белой странице и снова терялись в белом поле. Потом потянулись строчки. Наподобие заборов вдоль писательского поселка. И вот однажды среди черных веток и просветов между ними удалось разобрать:

По той же дороге чрез эту же местность
шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримиыми делала их бестелесность,
но шаг оставлял отпечаток стопы.

Глава вторая

Первые страницы

Мой самый первый лист – пододеяльник. Просто пододеяльник. В углу пришита метка. Это мой адрес. Как на письме. А еще там, наверное, есть мое имя Хеня. Так хотел назвать меня отец. Но мама сказала, что это имя значит «чужестранка», и назвали меня по-другому. Я еще не умею читать, но мне нравятся черные буквы и цифры. Чтобы попасть к пришитой метке, нужно проехать через горы (колени) и долины, подняться вверх по ребрам, по проталинам шеи, взобраться на подбородок, а оттуда на кончик носа... Мой пододеяльник – это и письмо, и карта, и ландшафт. Иногда его стирают и вешают сохнуть на балконе. И тогда он становится парусом. Он надувается на ветру и наполняется белым светом.

До моих двух лет жили в коммуналке в Брюсовском переулке, – ее я помню смутно. Длинный темный коридор и прямоугольник белого света. Он вливался в дом вместе со звонком колоколов. У входной двери звонил телефон, а из противоположного конца – колокола. И вот, еще до больницы, бежишь, бежишь изо всех сил к раскрытой двери и оказываешься на балконе. Прямо перед тобой купола соседней церкви, и тебя подхватывает колокольный звон. Впрочем, взрослые хором утверждают, что в 1970-е годы в Советском Союзе

колокола звонить не могли. Было запрещено. Но я-то точно помню, звонили! И этот льющийся свет.

Еще раньше был белый потолок. Мой лист – это потолок. В нем были трещины. Если тебе три года и ты лежишь месяцами, глядя в потолок, то не нужно рисовать – можно просто разглядывать трещины: рыцарей, ангелов с кастрюльками, плачущего мальчика, от которого убежали и коза, и жираф, которых его послала пасти мама – смотрительница замка. Глядеть на потолок куда интереснее, чем слушать жалостливые вздохи бабушкиных подруг: ах, бедная девочка, как же так. В три года сломать позвоночник... Ну надо же как повезло – если бы шейные, то конец. А если ниже – то паралич на всю жизнь.

Боже мой, когда же они уйдут?

Оставьте мне мой потолок.

Перелом позвоночника оказался и впрямь переломным: с этого мига девочка помнит себя собой, уже подряд, без провалов.

Она не выносила, когда ее жалели. Ничего ужасного девочка в своем горизонтальном положении не видела. Жить это не мешало. Не мешало играть и думать.

Мой лист – белая крыша. Я пока не могу ходить, но зато ко мне в гости приходит воробей.

У меня есть лопатка, и я могу копать ею снег на крыше, лежа в спальном мешке.

В больнице было куда хуже. Там не было трещин на по-

толке, не было мамы и почти все было белое. Коричневым запомнился только взрослый шестилетний мальчик. У него даже имя было коричневое – Сережа. Сережа проглотил значок. Он очень этим гордился. Оно и понятно: проглотить значок – это по-мужски, не то что сесть верхом на перекладину шведской стенки, закричать «Бабушка, смотри, я на лошадке!», а очнуться в больнице со сломанными позвонками. Цветными были картинки и стихи. Но надо было ждать, чтобы тебе их прочли. Букв еще не было. А пока тянулся длинный белесый день, и только где-то с краешку было немного стихов.

– Старая лестница,
Что ж ты не спишь?
Что ты все время
Скрипишь и скрипишь?

– Милый мой мальчик,
Когда же мне
Спать?
Надо людей
Провожать
И встречать.
Чтоб не устали,
Чтоб не упали,
Надо перила
Им подавать.

– Старая лестница,
Но, между прочим,
Люди не ходят
По лестницам
Ночью.
Так почему ж ты
Ночами
Не спишь?

– А по ночам, —
Ты поверь мне,
Мальш, —
То тяжелы,
То легки,
Словно дым,
Сны сюда входят
Один за другим.
Тихо под ними
Ступени поют...
Слышишь, мой мальчик?
Они уже тут.

Ирина Пивоварова

Потом потолок обвалился. Дом был старый. Балки прогнили. Перекрытия рухнули. Мы жили на верхнем этаже и чудом остались живы. Примчались исполкомовские начальники, поднялся переполох, и на годы мы остались без дома. А накануне был детский праздник. Пахло елкой и манда-

ринами. Пахло так, как будто никакой советской власти не было и быть не могло. Как будто белый снег не заносил братские могилы, как будто в одной из них не лежали смерзшиеся кости нашего расстрелянного прадеда-философа Густава Густавовича Шпета, как будто белый флаг не развевался над человеческими судьбами и судьбами целых семей и народов, как будто по ночам не стучали печатные машинки и не печатали на папиросной бумаге самиздат, как будто белый кефир не разливался по серому подземному переходу, как будто каждый шаг вне дома не был пропитан враньем и позором. Как будто улица Горького и впрямь была Тверской, как ее называла бабушка. И это тоже было ее ответом на то, что даже полвека спустя вместить невозможно.

Исполком. Потолком.

Слова. Они имели смысл и цену. За них можно было и угодить. Семья Поэта, приходившаяся и нам родными, щедро предложила пережить трудные времена на его даче. Сами они жили там только летом, а мы отныне круглый год. Вода на улице. Уборная – тоже. Телефона, само собой, не было. Рубили дрова. Носили воду. Топили печку. Варили кашу. Родители ездили на работу в университет и обратно. За нами приглядывала бабушка.

Там все и началось.

По той же дороге, чрез эту же местность...

Мы росли на полях стихов к роману. Большой дом поэта стоял среди сугробов, как корабль, готовый к отплытию. Имя

поэта мало затрагивало детскую жизнь – более того, с детским снобизмом мы полагали до поры до времени, что все носятся с ним просто потому, что он папа нашего дяди, а нам почти родственник, что-то вроде дедушки. Что до паломников, так это его добрые знакомые – старички и старушки. Скукоженную, кутавшуюся в шаль молитвенно называли «Надежда Яковлевна» и добавляли вполголоса «Мандельштам»; бородатого с палкой шепотом – Копелев; про горбоносую говорили, что она сестра Цветаевой, которую детское воображение рисовало как цветочную фею – одну из разноцветных куколок из конфетных оберток, которые так ловко скручивала для нас после чая ее подруга – Софья Исааковна. Фигурки всё множились на столе, а потом от едва заметного дуновения начинали кружиться в вальсе по клеенке с яблоками. Шел снег или падали листья. А роман и поэт были пейзажем за окном. Физическим пространством детства.

В доме жили и другие стихи. Пушкин, прежде всего.

Вечер. Трещит натопленная печь. А мама или бабушка читает, словно про нас:

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
Читатель ждет уж рифмы «розы»,
На вот, бери ее скорей...

И невольно тянешь руки, чтобы поймать, как мячик.

...Огонь опять горит – то яркий свет лиет,
То тлеет медленно – а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.
И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, – ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?

.....

Стихи были всюду. Они ходили по улицам. Однажды они появились на нашей аллее в образе черной шляпки с широкими полями. Шляпка остановилась и разговорилась с нами прямо через забор.

– Вы кто, дети? Эльфы?

– Нет, мы брат и сестра.

– А сколько вам лет?

– Шесть и пять.

– А что вы делаете?

– Сейчас играем в бобров, а до этого слушали пластинку

«Индука».

(Так мы называли пластинку со стихами Вадима Левина «Глупая лошадь»: на строчках «миссис и мистер Бокли достали из сундука» пластинка застревала и часами повторяла: индука-индука-индука, пока кто-то из взрослых не приходил сдвинуть иглу проигрывателя. После обеда нам полагалось лежать тихо, и часто мы подолгу слушали исключительно – индука.)

– Как интересно. Что это за пластинка?

Дама явно была не осведомлена в детских пластинках, а мы принялись безбожно врать, призывая на помощь весь свой небогатый подмосковный кругозор:

– Нам эту пластинку привезла мама... из Нью-Йорка, – бодро отрапортовала я (Нью-Йорк для меня, да и для всех нас тогда был точным синонимом луны).

– Да, из Нью-Йорка, – подхватил брат и смело добавил: – Она купила ее в Нью-Йорке на улице... Горького!

На большее нашей фантазии не хватило. В городе мы бывали редко, и улица Горького звучало так же волшебным, как Нью-Йорк. Врали мы долго и вдохновенно. Дама пришла в неимоверный восторг. Она, казалось, буквально впитывала

каждое слово и вбирала в себя всю нашу небывальщину.

Потом заторопилась, попрощалась и пообещала пригласить на день рождения дочери. Через несколько дней вечером, лежа в кроватях, мы услышали разговор родителей между собой:

– Знаешь, – говорил папа маме, – мне Тамара Владимировна рассказала, что встретила тут на днях в Литфонде Ахмадулину, и та сказала, что познакомилась с удивительными детьми-эльфами. Уже пишет стихотворение «Эльфы». Как выяснилось, это наши дети...

Нам бы обрадоваться, но мы испугались. Еще бы – мы не сомневались, что нам сейчас изрядно влетит от родителей за все ту лапшу, которую мы навешали на уши наивной, доверчивой тетеньке в шляпке.

На день рождения нас действительно позвали. Мы сопротивлялись, родители недоумевали, но делать было нечего. По дороге заехали в «Культтовары» на станции и купили набор «Маленькая хозяйшкa» – клеенчатый фартук, игрушечную скалку и поварешку. Когда мы вручили подарок Беллиной дочке, то вместо «спасибо» она мрачно изрекла: «Седьмой». Мы были седьмыми дарителями «Маленькой хозяйшкi». Что, впрочем, при тогдашнем дефиците неудивительно. И разочарование семилетней девочки, получившей седьмой одинаковый подарок, тоже можно понять. А вот старшая дочь Беллы нам обрадовалась. Была ласкова, играла, развлекала малышей, устраивала викторины, раздавала при-

зы и конфеты. В тот вечер Белла познакомила нас со всеми гостями и представляла не иначе как эльфами. Но волшебной запомнилась она сама.

Мы больше не виделись.

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.
Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Дворянское детство кончилась внезапно. Дали «трешку» в блочном доме. Началась многоэтажная Москва и школа. В школу пошла как во вражеский лагерь. Это нельзя говорить. Это тоже. Осторожнее. Осторожнее. Не подвести бы маму с папой.

Однажды в 3-й «Б» вошла райкомовская дама, чтобы отобрать лучших учеников, которых в качестве поощрения собиралась принять в пионеры в «первую смену». Девочка Хеня примчалась домой в слезах: «Я не буду вступать в пионеры». Мама растерялась – сама же этому и учила, но жить-то надо. Это становилось слишком опасно. Вечером с работы пришел папа. Попытался выяснить логически: «Почему? Это же пустая формальность – красный галстук и все

такое...»

– Не буду. Как я могу произнести слова «торжественного обещания», что я буду любить коммунистическую партию и Ленина?! Вы же сами говорили, что Ленин – убийца...

– Ну, любви никто не требует. Это просто слова. Они давно уже ничего не значат.

– А что тогда значит, если не слова?.. (с девятилетней запальчивостью).

Убеждали. Объясняли, что с такой крошкой разбираться никто не станет, что неприятности свалятся на взрослых. Папу в лучшем случае выгонят с работы (беспартийный и к тому же еврей!), а что будет делать семья? Чем кормить детей? Взывали к ответственности за маленькую Анечку. Это был точный ход. Ради сестры Хенія готова была на многое. Главное событие ее детской жизни. Ее первенец. Просыпалась по многу раз за ночь и подходила к кроватке: дышит ли? После рождения Анечки мама ушла с работы: ездить в археологические экспедиции она больше не могла, а дух советских контор был ей невыносим. Работал в семье только папа. К вечеру сговорились на сомнительном компромиссе: Хенія не будет произносить слова, а будет просто открывать рот в такт со всеми... Так появились красный галстук и чувство предательства.

Брат, не вникая особо в суть пионерской драмы, немедленно почувствовал в красном галстуке ахиллесову пятку старшей сестрицы и не уставал дразнить ее пионеркой. Завя-

зывалась потасовка, и мама, дабы пресечь рукоприкладство, разводила детей по разным комнатам. Но этим дело не кончилось.

Продолжение разыгралось через месяц в школьной уборной, куда девочки дружными стайками ходили подтягивать вечно сползающие колготки.

Хепия этого места избегала – и по его неэстетичности, и из нелюбви к коллективным интимностям. Дожидалась начала урока и отпрашивалась в случае необходимости. Или же бежала в самом конце большой перемены, когда остальные девочки уже впархивали стайками в классы. Вот и сейчас она осторожно зашла в уборную, но неожиданно столкнулась там со своей тезкой и одноклассницей, тихой девочкой с задней парты, которая, казалось, дожидалась именно ее. Та заговорила первая жаркой скороговоркой:

– Я учусь плохо, и меня будут принимать в пионеры в последнюю очередь, но я собираюсь отказаться. Я верующая. Я чувствую, что ты думаешь так же, как и я, что ты не хотела, что тебе пришлось. Я решила тебе сказать.

Хепия молчит. В голове проносится: осторожно, осторожно, это может быть провокация...

– Ты можешь мне не верить, – продолжала девочка, словно читая ее мысли, – но ты увидишь, что так оно и будет.

Да уж, действительно нелегко. Сначала бесконечные летучки, собрания, где все учителя сбивались в стаю и дружно клевали маленькую девочку. Потом бойкот класса, наусь-

канного новой классной руководительницей.

– Хеня Лурье тут? – эта крыса зачем-то вызывала ее в учительскую посреди урока французского.

О эти пустые школьные коридоры и холодок под языком. В учительскую ее отродясь не вызывали, да еще во время урока. Что случилось? В учительской не было ни души. Рьяная любительница сериала про Штирлица сажает девочку за стол напротив себя и направляет ей в лицо лампу.

– Сейчас ты будешь отвечать на мои вопросы. Ты дружишь с Х.?

– Да.

– Ты знаешь, что она не пионерка, и ее поддерживаешь?

– Она моя подруга. (Боже, как страшно, как колотится сердце, только бы случайно не выдать кого-то, не навредить, не предать...)

– Ты была у нее дома?

– Да.

– Ты видела там иконы? А сама она носит крест?

– Э-э-э-э... что-то не припомню.

(Дом был завешан иконами. Крестик был. Старинный, серебряный.)

– Так я тебе и поверила. А книги, изданные за рубежом, у них есть?

– Какие такие книги? Наши школьные, по французскому про медвежонка?

Рикики и Рудуду?

(А это удачная находка! Как будто она и в самом деле не знает, что такое тамиздат.)

– Хватит паясничать. А что вы делали, о чем говорили?

– Мы... э-э-э-э... уроки. Потом в дочки-матери играли.

(Дочки-матери! Как же! Евангелие читали тайком...)

– А родители дома были?

– Были.

– И что, даже обедом не накормили?

– Почему? Накормили очень вкусно.

(Вранье. Дом был совершенно богемный с весьма приблизительным понятием об обеде. Впрочем, как раз в последний мой приход был общий борщ...)

– А о чем говорили за столом?

(Что за ужас? Просто Оруэлл какой-то. «1984». Он, собственно, и стоит на дворе. Она что, была там, эта училка? За занавеской пряталась? Ведь говорили об обыске у друзей-пятидесятников и о том, что их могут арестовать, а детей изъять за религиозную пропаганду... И, как назло, ничего не могу придумать. В голове – шаром покати. О чем обычно взрослые говорят за столом? «Не заботьтесь, что вам отвечать». Господи... Ну пожалуйста...)

– Ну, что ты замолчала?

– А-а-а... э-э-э... А меня мама учила, что детям не положено слушать за столом взрослые разговоры!

Звонок.

(Спасибо Тебе!)

– Так. На сегодня закончим. Если ты расскажешь хоть кому-нибудь, включая родителей, о нашем разговоре, – тебе не поздоровится. – Х. было сообщено немедленно на заднем школьном дворе. Родителям – дома. Папа собрался в школу.

– Папа, умоляю, не надо. Ведь она меня убьет. Как я завтра пойду в школу?

– Ничего не будет. Я знаю, как с ними разговаривать.

Он действительно знал. С обаятельнейшей улыбкой предстал перед классной руководительницей и представился коллегой-преподавателем. Он – университетский работник, она – школьный, они решают общие задачи по воспитанию подрастающего поколения. Он с интересом следит за последними постановлениями партии и правительства, касающимися образования, но, видимо, совершенно проглядел инструкцию, позволяющую отрывать студентов и школьников от учебного процесса, с тем чтобы вести с ними разъяснительные беседы, как это сегодня произошло с его дочерью, которая вынуждена была пропустить урок французского. Он бы очень хотел ознакомиться с постановлением, на основании которого это было сделано. Или хотя бы с инструкцией РОНО.

Училка прикусила язык. Она-то надеялась выслужиться, а это грозило обернуться серьезными неприятностями. Никакого постановления, разумеется, не было. Что ж, он так и думал. Он очень внимателен к своим профессиональным обязанностям. В следующий раз он пойдет беседовать прямо

в РОНО. Впрочем, он надеется, что это досадное недоразумение не повторится. Не повторилось.

Так и жили. Утром выходили на остановку. Мела поземка. Окраина окраиной. Но – о чудо! – оказалось, что в соседнем доме живет сама Юдифь Матвеевна Каган. Та самая легендарная – знаменитый переводчик, филолог-классик, биограф Цветаевых, дочка философа Невельской школы Матвея Исаевича Кагана, ученица А. Ф. Лосева. Они жили вдвоем – мать и дочь. Строгая Юдифь Матвеевна и волшебная Софья Исааковна. Обе уже давно не выходили из дому, но дом их и был средоточием вольной мысли – территорией, свободной от советской власти. Они не были вопреки. Они были вне и над.

Однажды Ю. М. вызвали на очередной допрос в КГБ:

– Скажите, какое отношение вы имеете к радиостанции «Свободная Европа»?

– Одностороннее.

– ???

– Я их слушаю и знаю, они меня – нет.

Юдифь Матвеевна. Опора и камертон. Это она собрала в начале 1980-х группу околордиссидентских детей, чтобы обучать их (бесплатно, разумеется) латыни и основам классической культуры. Позвали и Хенію. В группе оказались будущие друзья на всю жизнь. Там встретила Митю. На чай к Ю. М. из соседнего подъезда заходил Сергей Сергеевич Аверинцев. Там же впервые встретила и В. А., ставшую такой род-

ной. Через чтение латинских авторов («Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliquit, / labitur ex oculis nunc quoque gutta meis»¹), постановку «Антигоны» («Сестра моя любимая, Исмена, не знаешь – Зевс до смерти нас обрек терпеть эдиповы страдания?»), приглашения знакомых ученых с серьезными лекциями для тринадцатилетних птенцов («Глоттохронология и ее место в компаративистике») и прочих классическо-академических премудростей, Ю. М. ненавязчиво учила детей свободе. Чем бы они ни занимались, из-за стекол книжного шкафа на них вдумчиво глядели фотографии Анны Франк и Мартина Бубера, Януша Корчака и портрет Эразма Роттердамского. Так из занятий уроки все больше превращались в жизнь. А сама Ю. М. – из преподавателя в Учителя.

Каждую среду девочка бежала в соседний дом, а после возвращалась в блочную «трешку», счастливо декламируя про себя Горация, которого много лет спустя читала над гробом своего первого учителя:

Non usitata nec tenui ferar
pinna biformis per liquidum aethera
vates neque in terris morabor
longius invidiaque maior...

¹ Только лишь вспомню <ту ночь>, как я со вседорогим расставался, — льются слезы из глаз даже сейчас у меня. Овидий. Скорбные элегии, I, 3, 1–4. Перевод Сергея Шервинского.

Не на простых крылах, на мощных я взлечу,
Поэт-пророк, в чистейшие глубины,
Я зависти далек, и больше не хочу
Земного бытия, и города покину.

Не я, бедняк, рожденный средь утрат,
Исчезну навсегда, и не меня, я знаю,
Кого возлюбленным зовешь ты, Меценат,
Предаст забвенью Стикс, волною покрывая.

Уже бежит, бежит шершавый мой убор
По голениам, и вверх, и тело человечье
Лебяжьим я сменил, и крылья лишь простер,
Весь оперился стан – и руки, и заплечья.

Уж безопасней, чем Икар, Дэдалов сын,
Бросаю звонкий клич над ропщущим Босфором,
Минуя дальний край полунощных равнин,
Гетульские Сирты окидываю взором.

Меня послушит Дак, таящий страх войны
С Марсийским племенем, и дальние Гелоны,
Изучат и узрят Иберии сыны,
Не чуждые стихов, и пьющий воды Роны.

Смолкай, позорный плач! Уйми, о, Меценат,
Все стоны похорон, – печали места нету,
Зане и смерти нет. Пускай же прекратят

Надгробные хвалы, не нужные поэту².

На окраине Москвы дул пронизывающий ледяной ветер. У застекленной автобусной остановки, напоминавшей мутный стакан из школьной столовой, топтались черно-серые фигуры. Автобус никак не приходил.

По радио передали, что М. по-прежнему держит голодовку с требованием освободить политзаключенных. Видимо, голодовка серьезная, он слабеет с каждым днем, но не сдается. Скорее всего, его мучают насильственным кормлением через зонд. По скудным и нетвердым сведениям, которые просачиваются в новостях, семье предлагают выезд. Видимо, власти не на шутку беспокоятся за его жизнь и хотят избавиться от М. без шума. Семья отказывается от эмиграции, если им не дадут свидание. Свидание не дают. Митя никогда не говорит об этом. Он не видел отца уже несколько лет. Это восьмой арест.

Записала в тринадцатилетнем дневнике.

Автобуса все не было. Подумала было идти пешком, но вдруг представила: лагерь, вышки, строй заключенных... И остановилась. Нет, нужно дождаться автобуса. На том стою и не могу иначе. Пусть руки и ноги окоченеют, пусть портфель с учебниками покажется чугунным, она должна быть стойкой. Слова «солидарность» девочка не знала, но стояла на морозе по стойке «смирно» и чувствовала, что этот бессмыс-

² Liber II. Carmen XX. Перевод Александра Блока.

ленный с точки зрения здравого смысла жест чем-то приближает к правде. И потом – ей уже тринадцать, почти взрослая. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?

9 декабря. Страшное известие по радио: в тюрьме умер Митин отец. Его больше нет. Только-только забрезжила надежда. И все. Конец. 20 лет в лагерях. И что теперь Митя и его мама? И как это умирать в ледяном карцере, не увидев ни жену, ни сына, ни одного близкого лица. Умер Великий Человек. Его не сломали и не сломали. После этого нельзя трусить. Он боролся за нашу свободу. Настала наша очередь. Неужели мы промолчим?

11 декабря. Я дома с ангиной. Радио трещит. Слышно плохо. Передали что-то про похороны М. на тюремном кладбище. Взрыв возмущения во всем мире. Сквозь треск помех отчетливо прозвучало: «Присутствуют жена и сын...» И так явственно предстали в воображении эти две фигуры на клочке тюремного кладбища: сын, поддерживающий сгорбленную мать. Теперь уже отсиживаться и отмалчиваться совершенно невозможно. Даже если я буду одна. Но одна я не буду: Митя, Миша... Нас больше, чем кажется. Мы вырастем, мы не забудем. Мы не оставим это так.

15 декабря. Как близко такие разные события. Сегодня у нас дома (да и во многих семьях) – праздник. Сахарова и Боннэр возвращают из ссылки... Би-би-си передали, что было заседание Политбюро «О предложениях в отношении

Сахарова А. Д.» – и «принято решение одобрить проекты Указов Президиума Верховного Совета СССР (о прекращении действия Указа 1980 года о выселении Сахарова из Москвы и о помиловании Боннэр)»... Сахаров рассказал, что «в 10 вечера неожиданно пришли электрики и гэбист – поставили телефон. Гэбист сказал, чтобы около 10 часов утра ждали звонка». Позвонил Горбачев. С. и Б. получают разрешение вернуться в Москву. Но Сахаров первым делом говорит о смерти своего друга в Чистопольской тюрьме, просит Горбачева «еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения». А ведь другой промолчал бы, выпускают все-таки... Но А. Д. не такой. «За дверью квартиры исчезли стол и стул милиционера и сам милиционер. Большие поста у их двери не было. Телефон – остался... испытываем очень смутное чувство. М. погиб, зэки сидят – а мы возвращаемся в Москву. Возникает странное чувство вины...» – пишет он в послании друзьям.

30 декабря. Маленький брат Петя сломал ногу. На маме совершенно нет лица. Она сутками в больнице. Ей сейчас совсем не до нас – только Петя. Какое счастье, что есть латынь. Миша и Митя. И Ю. М. – скольким я им всем обязана... После занятий Митя качает меня на качелях и дарит солдатиков. Переписал всего Галича. А сегодня позвал в гости. Я пойду к НИМ в дом!!!

По нехитрой советской арифметике в блочной «трешке» жили сначала шестером: мама-папа, трое детей и бабушка,

а потом и вовсе всемером – родился брат Петя. Квартирный вопрос стоял остро. Хитроумными путями, через знакомую знакомых удалось выхлопотать бабушке отдельную квартиру этажом выше, а в год перестройки и гласности – невероятным везением плюс немислимыми родительскими усилиями обменяли эти «однушку» и «трешку» – на Большую Квартиру на Большой Садовой.

Вот так все начиналось. Еще стояло лето, и не было ни путча, ни раскола неба. Еще девочка в красном сарафане беззаботно улыбается в объектив, уверенная, что надежно защищена стеной мира взрослых от всякой опасности, таящейся в этом мире.

Буква. Слово. Одно слово. Два слово. *Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?*

А время летело навстречу вместе с юностью. И ветры свободы подхватили и понесли Европу. Вручение почетного гражданства и символического ключа от города Праги знаменитой восьмерке, участникам демонстрации 1968 года на Красной площади, протестовавшим против ввода советских танков в Чехословакию, состоялось тогда, 22 года спустя. Дубчек, первый премьер свободной Чехии, и Вацлав Гавел, первый президент-диссидент, поспешили пригласить в качестве почетных гостей тех, кто вышел «За нашу и вашу свободу» и кому они считали себя обязанными. Вышли, когда никто не мог этого предугадать. Вышли, зная, что за этим по-

следует. Психушки, зоны, ссылки. Поломанные судьбы. Запоздалая и ненужная слава. Но и чехи знали уже тогда: будущее выйдет из этой восьмерки – как из гоголевской шинели. И когда в очередной раз прозвучит обывательский вопрос: да что может кучка (далее обычно идет произвольная цифра от единицы до нескольких тысяч)? – ответом может быть одно слово – «честь». Эпиграф из Карамзина Галич изменил так: «Жалеть о нем не должно, / Он сам виновник всех своих злосчастных бед, / Терпя, чего терпеть без подлости не можно».

Компания собралась разношерстная. Те, кто дожил до этого дня, съехались, разбросанные, из разных стран. Встретились, будто не расставались. Поселили в личном особняке Дубчека в Градчанах. Девочка, оказавшаяся там почти случайно, смотрела и запоминала. Как почетные гости отказались ездить на специально предоставленной правительственной машине с мигалками и затемненными стеклами (уж очень напоминали гэбешные), как передвигались то на метро, то на микроавтобусе всей шумной компанией, как путали комнаты в резиденции, теряли лекарства и деньги, врывались по ошибке в номера друг друга. Как окатило с головой из биде (не знали, что это такое) в роскошных премьерских апартаментах и явились на прием мокрые (запасного костюма не было), как сидели по вечерам в гостиной, а хозяин особняка комментировал художественный фильм, шедший в честь годовщины по чешскому телевидению: «Ну нет,

этот актер Дубчек-герой, не я. Мне было очень страшно».

Тогда-то девочку-подростка и пронзило это чувство хрупкости. Они не были героями по призванию или безрассудству. Им было страшно. Они были героями, потому что были живыми. Трогательным, разным, в чем-то нелепым, талантливым, искренним, им всем было что терять. Но терпеть, чего терпеть без подлости не можно, живые души не могут.

Это она постарается запомнить.

Глава третья

Путеводитель

Недоступная светская красавица, обласканная миллиардами глаз, лукавая карнавальная девочка в маске или Тишайшая (Serenissima), потаенная душа в переливах зеленоватой воды – наверное, все это правда. Венеция видится такой, какой мы ждем ее и какой мы ее себе представляем. Образ этот дробится в отражении сотен созданных в ее честь произведений. Но точнее всего она отражается в самой себе. Станет ли ваш приезд сюда всего лишь данью нарциссизму или же превратится во что-то большее – зависит только от вас. Дело не только в отражениях. Венеция – не общее место, а личное пространство, которое обещает встречу с самим собой. Со звуком собственного голоса и эхом шагов по гулким улочкам, чья тишина не нарушается шумом автомобилей. В этом городе люди по-прежнему видят друг друга лицом к лицу, а не через стекла машин, и потому каждый человек слышен и узнаваем. А в ясные дни город и вовсе превращается в детскую сказку. В канале кружатся рыбы, словно вышедшие на прогулку из дверей отраженного дома, а из резных окошек выпрыгивают солнечные зайчики, чтобы порезвиться на соленых кирпичных стенах с отшелушивающейся штукатуркой. Венецию трудно открыть – скорее, она откроется вам сама, если вы отвлечетесь от путево-

дителей и не пойдете торными путями. Стоит нырнуть в проулок, уводящий от основных, затоптанных туристской толпой улиц, и каждый ваш шаг и каждое слово будут гулко отдаваться в окрестных закоулках.

Приезжающий в Венецию путешественник оказывается или на вокзале, или на пьяццале Рома – последнем оплоте современного механизированного мира. Дальше – вода. Единственный вид общественного транспорта – катер-вапоретто. На нем-то и следует проехать по Большому Каналу. Перед вами развернется своего рода исторический парадный атлас. Полчаса пролетят незаметно, и вот вы уже прибыли на остановку «Valaresso–San Marco». Если вы из России, не исключено, что вы оставите свои чемоданы в отеле «Бауэр». За роскошным современным фасадом скрывается истинно венецианский интерьер, который в свою очередь продолжает уникальный трехалейный сад – один из редчайших сохранившихся примеров классической ландшафтной архитектуры. Отель «Бауэр» расположен на Большом Канале в палаццо Мочениго, которым владеют потомки известной в истории венецианской семьи дожей. На протяжении веков семейство Мочениго встречало и принимало в этом палаццо выдающихся политических деятелей (например, герцога Савойского в 1574 году), художников, философов, поэтов (лорда Байрона в 1820 году). К сожалению, с именем Мочениго связаны и не лучшие страницы истории: один из членов семейства пригласил к себе Джордано Бру-

но для изучения мнемотехники – особых приемов развития памяти, которыми тот владел. В независимой Венецианской республике ученый надеялся найти защиту от преследований Рима. Дело, однако, обернулось предательством, и Джордано Бруно был передан в руки инквизиции, а мнемотехника – почти позабыта. Однако один из ее приемов известен и современной психологии: чтобы избавиться голову от ненужной вам в данный момент информации, расположите эту информацию по какому-то маршруту. В тот же момент, когда она вам понадобится снова, – мысленно пройдите этот путь и соберите все сведения.

Перейдите мост Академия. Если вы чувствуете в себе силы и желание знакомиться с шедеврами венецианской живописи, то стоит посетить одноименную галерею, однако не стоит проводить там долгие часы. Каждая из десятков церквей Венеции битком набита мировыми шедеврами, и в погоне за ними вы рискуете упустить самую Венецию. Венецианское искусство так органично вписывается в сырой воздух, в запах воды, в узкие улочки, в полутемные интерьеры церквей, что поневоле начинаешь проникаться средневековой идеей города, ремесленных цехов или скуол (особого рода венецианских ремесленно-благотворительных общин). Тогда искусство не было возведено в ранг возвышенных занятий, а было просто продолжением ремесла, а значит, повседневной жизни, начисто лишенной какой-либо божественности. Так что выберите для себя в «Академии» один-два зала. Достаточно

посмотреть трех основных венецианских классиков, чтобы, выйдя на улицу, узнать во встречной болонке маленькую белую собачку Карпаччо, в очертаниши золотистых кудрей маленькой девочки с портфелем – наследницу Тициана, а в чертах лица ее мамы – мадонну Беллини.

На второй день вас, скорее всего, разбудит звон колоколов Сан-Марко. Теперь, проведя день в Венеции, можете смело выйти на площадь, не боясь всей банальности этого мероприятия. Вы здесь почти свои... Вы можете выпить кофе в кафе «Флориан», старейшем в Европе, или же заказать традиционный венецианский коктейль «Беллини». Впрочем, вы здесь не за этим. Зайти в базилику и замереть в золотистом сиянии мозаик. Венецианцы не только хитрецы (сколотили свою славу на украденных мощах евангелиста Марка), но и мастера. Для современников интерьер собора был чем-то вроде книги и фильма одновременно. В расположении куполов, распределении на стенах базилики сюжетов и символов, которые были азбукой средневекового человека, а сегодня доступны лишь специалистам, скрыт драматизм сюжетов, крепко связанных с повседневной жизнью людей. Это называлось *Biblia pauperum* (Библия бедных – или, точнее, – *Biblia puerillorum* – Библия зрачков). Говорят, люди приходили сюда и проводили дни в своего рода «чтении». Но, увы, в нашем распоряжении всего лишь одни выходные. А потому выйдите на свет божий и, обойдя базилику слева, пройдите вперед мимо двух мраморных львов, которых так

любят седлать дети. Через некоторое время, дойдя до церкви Сан-Заккариа, загляните туда, чтобы увидеть знаменитую Мадонну с Младенцем работы Беллини. Затем вы можете пройти дальше и, полюбовавшись на местную пизанскую башню – накренившуюся над каналом колокольню греческой церкви, углубиться в сестьер Кастелло и дойти до церкви Сан-Джованни-де-Брагора, в которой крестили Вивальди и где он потом служил капельмейстером. Можете продолжить прогулку до Арсенала, где ковалась военная и морская мощь Венеции. А можете пойти дальше, до самых Садов Биеннале.

Если сейчас лето и день выдался жаркий, неплохо сесть на вапоретто и отправиться на пляжи Лидо. На обратном пути вам, вероятно, захочется посетить Сады Биеннале (особенно если год на дворе стоит нечетный и знаменитая выставка современного искусства в самом разгаре). За эти дни вам уже приходилось, вероятно, замечать, что в лагуну нередко заходят огромные суперсовременные лайнеры. Это будет, пожалуй, самой точной метафорой биеннале. Масштабы этих пароходов во много раз превосходят размеры венецианских резных домиков и кружевных фасадов палатцо, которые от этого соседства кажутся еще более хрупкими. Дни открытия биеннале – испытание потяжелее карнавала. Словно безжалостная рука стирает с доски знакомые лица и родные черты, чтобы взамен высыпать на город содержимое глянцевого журнала и телевизоров. От

современного искусства, VIP-персон, коктейлей и презентаций рябит в глазах, а в душе возникают помехи. Венецианцы не любят биеннале, но как истинные провинциалы не могут отказать себе в удовольствии приобщиться к Большому Миру. Приглядеться к лайнеру-пришельцу. Поглазеть, как он пришвартуется, как команда сойдет на берег, как город наполнится выставками и инсталляциями – но ненадолго. Корабль уйдет туда, откуда пришел, а город продолжит свою собственную жизнь. Да и вам пора вернуться к Сан-Марко и, вырвавшись из толчеи на набережной Скъяво-ни, сесть на вапоретто № 2, чтобы, проехав одну остановку, высадиться напротив, на острове Сан-Джорджо. Нужно успеть сделать это до пяти вечера – тогда, войдя в храм Святого Георгия, построенный Палладио, вы сможете свернуть в коридор налево с указателем «satrapile», и у лифта вас будет ждать один из шести монахов-бенедиктинцев, который поднимет вас на колокольню, откуда открывается вид на всю Венецию. Вы взлетите и поплывете в дымке над черепичными крышами, колокольнями, увидите резную шкатулку Дворца дожей, площадь Сан-Марко, толпы муравьишек-туристов, разглядите лодки-рыбки всевозможных форм и размеров, разрезающие во всех направлениях лазоревую поверхность каналов и лагуны, ваш взгляд поплывет за горизонт, к далеким островам, тонущим в тумане, к таинственному Торчелло, с которого началась Венеция и куда вы еще обязательно попадете, но не сейчас, не

сейчас...

Многим Венеция напоминает загробный мир. Но она – всего лишь проекция мира внутреннего. Идеальная топография души. По-итальянски слово «город» (città) женского рода. И это не случайно. Наверное, каждый из нас знает: чтобы что-нибудь понять в себе самом, нужно заблудиться. А заблудиться в лабиринте Венеции нетрудно. Достаточно отложить карту и идти наобум. Шаг становится все ровнее, все тише. И вот, оказавшись наконец в укромном уголке собственной души, вы вдруг узнаете все разом – и знакомый канал, по которому неторопливо текут ваши мысли, и маленький мостик сознания, соединяющий два берега вашей жизни, и рябь на воде, и знакомые лица местных жителей – разве это не те люди, которых вы знаете с детства? И в этот миг узнавания надо остановиться, прислушаться к плеску воды, крику чаек, далеким колоколам или ударам гондолы о сваю и понять, что не вернуться сюда нельзя.

Так заканчивался первый текст для женского путеводителя. Что ж, всё хлеб.

«La bellezza della pagina sono i margini»³

³ «Красота страницы – в полях» (итал.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.